

Уже в ранних стихах его возникает то, что не может не дать малая родина, если, конечно, она ведаёт—кому: «Всклёк беркута в названии Максай...» Не вскрик, не крик, как в случае с Бродским, ястреба, а звукоподражательный, с детства подслушанный «всклёк беркута». К тому же из двух отшурнувших ястребов герб России не сложишь. Тут требуются беркуты.

А Максай—это барачный посёлок на Оренбуржье, где, собственно, и явился на свет будущий поэт Геннадий Красников. Да-да, он тоже наслаждался, будто есенинский Хлопуша:

Оренбургская заря красношёрстной верблюдицей
Рассветное роняла мне в рот молоко...

И пусть, преображённый распахнутой совестью и неубывающим чувством вины, чем и отличаются подлинно русские, живущие во Христе поэты, Красников не мог по определению обернуться вторым Хлопушей (да и зачем быть вторым?), однако «всклёк беркута» в нём живёт и поныне. Так позванивает внутри новогоднего шара отколовшаяся от его горлышка зазубренная частичка, когда этот шар извлекают из старинной ватной коробки, дабы им наградить ель, внесённую в ваш дом или на главную площадь страны.

По большому счёту Красников—праздничный, сферический, его переполняет восторг бытия (или—перед бытием?), но «всклёк»-то откололся, и хоть прохудившееся горлышко закрыто металлическими лепестками с петелькой, за которую крепится нитка, и скола внешне не видно, зато слышно, ежели шар встряхнуть...

Этот «всклёк»—во всём: обращается ли Красников к своим ушедшим «в заоблачный плёс» духовным отцам—поэтам-фронтовикам:

Пусть молодые пишут для живых,
а я уже давно пишу для мёртвых...

Пытается ли разбудить тех (всё-таки пытается!),
о ком вряд ли «пишут молодые»:

Хватит уже умирать под забором
и перед каждым лукавцем и вором
голову хватит склонять!

Пробует ли пересилить невозможное:

В глухую стену, как подводник в «Курске»,
стучи сильней, чтоб слышали в Кремле...

даже когда

Царь-колокол молчит. Мертвым мертва Царь-пушка.
Страна несёт свой крест. Безмолвствует народ

явственно клоочет тот самый красниковский «всклёк»; а уж ежели работающие без масок заплечных дел быковы подписывают приговор не туда идущей, с их точки зрения, стране и «безмолвствующему народу» («Дрова довольны, кто бы ни рубил их») — тем более «всклёк», уже обращённый к поруганной Родине:

Не спрашиваю я, куда идёшь,
я за тобой, иди, моя печальница!..

Красников не безотказен, но неподкупен. Хотя кто-то мог расценить как шахматный ход с далеко намеченными жертвованиями стихотворное напутствие от Евгения Евтушенко к первому сборнику Геннадия «Птичьи светофоры». Но разве это означало, что автор «Птичьих светофоров» должен был отказаться от самого себя? Востроглазая российская провинция (вот он, очередной «всклёк беркута в названии Максай»!) тут же заприметит: как только евтушенковские «Строфы века» пошли на приступ читательских умов, следом, точно икона Богородицы в роднике, явилась антология, составленная Владимиром Костровым и Геннадием Красниковым: «Русская поэзия. XX век». А в ней, в отличие от «Строф века», немало той самой отверженной или забытой провинции—её высоких и низких голосов. Впоследствии «шести-десятники» осознают свой опрометчивый промах и станут его восполнять обмолвками о «лучших региональных поэтах», да только упоминаемые поэты никогда не числили себя «региональными», о чём ведал и ведаёт Красников. Но и это ещё не весь его «всклёк».

1. На «удалёнке» от самих себя

— Гена, согласишься, нынешнее бытие, причём в мировом его охвате, разграничилось на своего рода числитель и знаменатель. В числителе—жизнь до пандемии, в знаменателе—период коронавируса.

Конечно, грозные предчувствия засылали к нам своих гонцов. Например, если бы мы начали этот диалог до объявления режима самоизоляции, я — точняком! — ухватился бы за фразу в одном из твоих писем ко мне — за строчку из «Варяга»: «Последний парад наступает». Или — по Красникову:

...Наступает наше время —
не прощаясь, уходит.

Думаю, речь — о поколении, чьё вхождение в литературу пришлось на восьмидесятые годы прошлого века. Но после того, как заступили за последнюю черту поэты-фронтовики и «шестидесятники», «фронт» — вилотную! — приблизился и к нам. «Наше, наверное, самое благополучное (в известной мне истории) поколение удостоилось дожить до такого всемирного перелома. . .» — прислал мне весточку из-под Иерусалима поэт Игорь Бяльский. Насчёт «самого благополучного» — вопрос. Может быть, в этом внешнем-то «благополучии» — главный наш и самый болезненный «перелом»?

— Юра, извини, поскольку я предполагаю, что в дальнейшем мы будем говорить о стихах, то позволь мне, к слову, вспомнить строки из моего давнего стихотворения, но оно, по-моему, имеет отношение к началу нашего разговора:

Русский ум на всём вопрос поставит,
вечный и тяжёлый, словно крест. . .

И дальше:

Потому отмерила непросто
путь нам наша русская верста,
та, что — от вопроса до вопроса,
та, что — от креста и до креста.

Собственно говоря, твой трагический вопрос только подтверждает мою мысль об апокалиптичности (эсхатологичности) мышления и мироощущения русского человека, христианского по сути (душа — христианка!) русского писателя — от автора «Слова о полку Игореве» с его грозными «знаками»-предупреждениями в природе как предвестиями несчастья, катастроф до беспокойного Юрия Беликова с его «своеначным, жадным умом». Просто так глобально обозначаешь ты проблему «бытия», к тому же сразу в его «мировом охвате», в связи с, казалось бы, повторяемым в мировой истории событием: страшные эпидемии чумы, холеры, «испанки», выкашивающие целые города, как ты знаешь, всё-таки случались в разные времена. . . Кстати, от чумы умер Андрей Рублёв, от «испанки» — Гийом Аполлинер, а сейчас, пятнадцатого июля, в Оренбурге умер от «ковида» мой друг и земляк, замечательный поэт Геннадий Хомутов. . .

— Ну вот он, «последний парад»!.. Отсчёт-то уже начался.

— Вообще, ты задел самую болевую для нашего поколения тему — другой, более страшной «пандемии», которая забрала наших учителей — поэтов-фронтовиков и наших старших товарищей — поэтов «шестидесятников»; только за последние три-четыре года я потерял очень близких мне людей — Новеллу Матвееву, Евгения Евтушенко, Ларису Васильеву, Андрея Дементьева, оказавших серьёзное влияние на мою судьбу в литературе и в жизни. . . Увы, эта «пандемия» возрастает действительно, как ты заметил, подбирается и к нашему поколению, в котором тоже, кстати, потерь не перечесть, о чём так сильно и горько сказано у тебя в стихотворении «Книги мёртвых». . .

— А ведь и у меня — почти те же самые утраты!.. Кажется, совсем недавно они звонили мне в Пермь: Евгений Евтушенко — из своего оклахомского Талса и Лариса Васильева — из подмосковного дома-музея танка Т-34. Полагаю, ты посвящён в то, что Евгений Александрович и Лариса Николаевна друг друга не жаловали, тем не менее я, как и ты, был одарён дружбой и с его, и с её стороны. Наверное, это отдельная, ещё ждущая своего часа глава. Скажу лишь, что я стал одним из действующих лиц книги Евтушенко «Счастья и расплаты», равно как и повести Ларисы Васильевой «Исчезновение императора». . . Я никогда не назову их «Книгами мёртвых», я лишь осознаю, что эти живые во всех отношениях страницы ныне, по какой-то неотменимой нелепости, мы вынуждены числить за авторством ушедших. Но в моём мобильнике и по сей день продолжают сосуществовать их телефонные номера. . . Я часто обращаюсь к их подаренным мне книгам, и не только во время так называемого режима самоизоляции, но и просто в трудные минуты. . . А режим самоизоляции, раз уж мы о нём заговорили, стал лично для меня чуть ли не естественной средой обитания. Не знаю, как ты, а я, по крайней мере, живу в таком режиме уже лет тридцать. Во всех смыслах — на «удалёнке». . . Даже воспринял сей факт как знак свершившейся справедливости. И не только я так воспринял. Вот ещё одно свидетельство — уже из Новосибирска, от поэта-дикороса Константина Иванова: «Говорят, на улице — изоляция, — пишет он, — а я её почти и не замечаю: слава Богу, давным-давно сам изолировался от сего неласкового мира. Склоняюсь к пиру во время чумы с избранными музами. . .» А к чему «склоняется» Геннадий Красников? Или, как он сам же в том же, про «наше время», стихотворении подытожил:

Больше ничего не будет,
кроме Страшного суда?»

— Давай так посмотрим на обозначенную тобой проблему в наших условиях, и есть ли она на самом деле. . . Марина Цветаева говорила, что она

писала бы, несмотря ни на какие обстоятельства,—и на необитаемом острове, и на Марсе, и в тюрьме, и в монастырской келье, и даже: «Если бы меня взяли за океан—в рай—и запретили писать, я бы отказалась от океана и рая...» То есть не могла не писать. Василий Розанов, например, обратил внимание на два разных типа творческого поведения, сравнивая Пушкина и Лермонтова. Пушкин мог легко променять сидение за письменным столом на первую попавшуюся дружескую пирушку, на общество дам, и практически все его произведения были созданы в стеснённых обстоятельствах, в условиях вынужденной замкнутости—во время ссылки, дурной погоды и, наконец, эпидемии холеры в тысяча восемьсот тридцатом году, благодаря которой мы имеем золотую для нашей литературы Болдинскую осень... В письме Плетнёву он шутливо писал (нам бы, дорогой Юра, поучиться такому душевному равновесию!): «Около меня колера морбус. Знаешь ли, что это за зверь? того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекушает—того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию... Ах, мой милый! что за прелесть здешняя деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни души; езди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает». Как ни рвался он в Москву к молодой невесте Наталье Николаевне, а всё ж застрял в своём селе: чем не «самоизоляция», хоть и вынужденная?..

— Не единожды слышал от братьев-пиштов: «Всем бы такое Болдино!»

— Вот только не у всех оно отзовётся Болдинской осенью! Если ты бывал в Болдино, ты видел отреставрированную церковь Успения Пресвятой Богородицы, на ступенях её паперти барин Александр Сергеевич ещё успевал встречаться с местными крестьянами, просвещая их по части гигиены, как защититься от смертельной заразы; одним словом, не жаловался на судьбу... Лермонтов же, в отличие от Пушкина, по замечанию Розанова, если начинал писать, то уже ни на что и ни на кого не отвлекался... Тоже ведь своего рода—самоизоляция... А для кого-то оно и вообще лучший вариант, чтобы люди не видели, что там у нас под маской.

Если же речь о новостребованности, о жизни «без читателя», как говорил Георгий Иванов в русском зарубежье на «дистанционном» карантине от изгнавшей его России, то это совсем другая история, более приземлённая тема, из области «заботы суетного света», которая, как было сказано выше, абсолютно не касалась Марины Цветаевой, не касается Поэта вообще, поскольку он есть функция, включающаяся в момент, когда «божественный глагол до слуха чуткого коснётся»...

— Насчёт «слуха чуткого»: девятого мая по телеканалу «Россия» шёл фильм «Т-34». И тут меня пронзила странная, какая-то вывернутая ассоциация: «Лагерь построян. Восемнадцать тысяч триста восемьдесят два заключённых. Триста восемьдесят пять больных. Тридцать два человека за ночь умерли...» Это ведь цитата нынешнего дня! Тот лагерь оглядывается на наш, не настоящее—на прошлое, а прошлое—на собственное будущее! В интервью Максиму Шевченко, который, по его утверждению, переболел коронавирусом, профессор-пульмонолог Федерального научно-клинического центра Александр Аверьянов обронил это короткое, всё объясняющее слово: «Война». То есть опять—«без объявления войны»? До первопричин «войны» теперешней ещё будут доискиваться. Пусть ими занимаются те, кому по штату положено. Меня даже не это интересует: «война» кого с кем? Волнует: что после «войны»?

— Начну с того, что телевизора у меня в доме нет, так что, кроме новостей по Интернету, я ничего не смотрю, а уж таких персонажей, как Максим Шевченко с его перекошенным от ненависти к России лицом, не смотрю тем более, в том числе в гигиенических для души целях, чтобы не подцепить заразу озлобленности...

Конечно, о событии иного масштаба, но с похожей реакцией на него, прибегну к ещё одной самоцитате. В две тысячи втором году в беседе для «Литературной газеты» с тогдашним главным редактором нью-йоркского «Нового журнала», моим другом Вадимом Крейдом, поэтом, историком литературы русского зарубежья, я спросил его, как человека, давно живущего в Америке: «Не кажется ли вам, что после известных событий одиннадцатого сентября две тысячи первого года, произошедших в Нью-Йорке, где, кстати, и издаётся ваш журнал, мир кардинально изменился? Зачем труд, зачем подвиги, зачем вечные истины, зачем „Новый журнал“, зачем Толстой и Шекспир, если всё это заканчивается телевизионной картинкой рушащегося на глазах мира?» Знаешь, Юра, меня тогда удивил философский ответ Крейда, хотя сомнений моих он всё-таки не развеял: «В истории есть вехи, точки отсчёта. Анна Ахматова говорила, что календарный двадцатый век начался в четырнадцатом году, когда разразилась мировая война. В том же некалендарном смысле двадцать первое столетие открывается одиннадцатого сентября. Были взорваны человеческие жизни, но не смысл человеческой жизни вообще. Лицо реальности часто безобразно, но мировое безобразие, слава Богу, не отменяет ни смысла, ни творчества».

Я ведь так понимаю, что ты как раз и говоришь о «смысле человеческой жизни»?..

— Ну да—о смысле. И даже—о бессмысленности...

— Вот тебе и экзистенциализм по Беликову — «смысл и бессмысленность»... Да, можно обрасти бородой в самоизоляции, хотя это не для меня, можно вести дистанционные семинары со студентами, а вот сейчас я ещё дистанционно набираю новый курс, наблюдая абитуриентов на экране компьютера, как будто во время сеанса из космоса... А по большому счёту мы все обречены на одиночество — от рождения до самой смерти, и пандемия, в сущности, ничего не меняет. Скажу больше: на самом деле мы на «удалёнке» и от самих себя. Знаем ли мы себя до конца? В этом смысле — поэзия и есть акт самопознания, глубинного, увы, порой и саморазоблачительного, ужасающего нас, если в нас ещё сохранилась способность чувствовать муки совести и стыда, который и есть наш личный ад на земле... Оттого поэт и не может не писать...

— Или не может писать...

— Ну, это явно не про Беликова... Я недавно перечитывал твои сложные, экспрессивные стихи, часто похожие на мунковский «Крик» в русском, откровенно исповедальном варианте, беспощадном к собственной персоне, словно каждый раз в тебе рождается новый, неизвестный тебе человек, иногда, прости (ты же любишь брутальность в своих стихах!), похожий то на врубелевского «Пана», то на его же растерянного уставшего «Демона»... Это и есть — самопознание, которому не может помешать никакая пандемия, и это уже твоя другая реальность, которая останется, когда не будет тебя, останется — с читателем или без читателя, что не имеет значения...

Кстати, перечитывая твои стихи, я всё время недоумевал, почему ты не появлялся у нас в редакции альманаха «Поэзия», где мы в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века работали с поэтом-фронтовиком Николаем Константиновичем Старшиновым; ты бы, безусловно, стал автором нашего очень популярного и уважаемого в литературном мире издания... Но вот получается, что ты сам выбрал для себя добровольную самоизоляцию...

2. А повод для сбора — забылся

— Сам, да не сам. Согласись: Луна, и Марс, и другие планеты Солнечной системы стали Земле намного ближе? Разумеется, в техническом отношении. Человечество, можно сказать, уже там топчется. Вот и сегодня мы напрямую, нарушая масочный режим, общаемся друг с другом. А тогда, в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века, разве знал Красников о Беликове? Или Беликов — о Красникове?.. Конечно, мальчик из провинциального Чусового пытался выходить в открытый Космос. Помню, где-то в конце семидесятых — с заветной запиской во внутреннем кармане от легендарной

Надежды Гашевой, редактора Пермского книжного издательства и крёстной матушки многих здешних творцов, — я приехал в Москву и зашёл в редакцию «Литературы». Там работал тогда один из бывших пермяков. Земляк прочёл мои стихи и встал в позу Нострадамуса: «Это напечатает лет через пятьдесят!» Так что — после такого предсказания — не долетел я, Гена, до планеты альманаха «Поэзия». А если принять во внимание этот, в чём-то даже лестный, прогноз, то до сих пор не летаю!..

— Извини, перебью на минуту твой «космический» экскурс в литературу... Хочу заметить, я сам родом из провинциального барачного посёлка Максай, что на Южном Урале в Оренбургской области... А вот твой «пермяк» из «Литературы» мне в своё время советовал написать что-нибудь, например, о Ленине, чтобы попасть на страницы «Литгазеты»: вот, мол, я, цинично говорил он о себе, написал такие стихи и попал в «День поэзии» (не путать с альманахом «Поэзия»). Правда, потом он же и напечатал меня впервые, когда к моей подборке вступительное слово написал Евтушенко, там тоже целая история, но не о ней сейчас речь...

— ...Речь о том (давай возьмём самую фантастическую версию), что пандемия ниспослана из Космоса в качестве защитной меры от агрессивной человеческой популяции. Популяции, которая не только не может обрести гармонии на собственной планете, но уже норовит укоренить дисгармонию в космических глубинах. Что — правда. Прямотаки библейское: «Слушай, земля: вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их...» Это — из Иеремии. И каковы же нынешние конвульсии тела Человеческого? Не будем заглядывать в чужой огород. Достаточно — одним глазком — посмотреть в теплицы отечественного телевидения. Казалось бы, на фоне пандемии наше бытие само себя переосмысливает? В сторону искупления «пагубы»? Но нет. Сплошные «Танцы со звёздами». Во всех смыслах — не только применительно к этому шоу. В общем, Гена, всё — как в твоём давнем стихотворении:

Но, может быть, уже всё так и было?
И мы совсем забыли, для чего
Все вместе собрались под этим небом...

— Послушай, Юра, всё-таки то, о чём ты говоришь, — публицистика: да, наболевшее, да, отвратное, да, пошлость, бесстыдство и мерзость зашкаливают, но — не главное... Всего этого мусора и хлама не было бы, если бы Человечество не удалялось так далеко от Главного центра, от Творца, от потерянного когда-торая... Хотим мы это признать или не хотим, но после того, что произошло две тысячи лет назад на Голгофе, все мы — ведаем, что творим... В конце концов, даже и далёкая,

казалось бы, от христианства идея Владимира Вернадского о ноосфере, которая до поры до времени накапливает отрицательную энергию людей, всех их злодеяний, войн, преступлений, тёмных мыслей, — тоже однажды отзывается на Земле катастрофами, эпидемиями, новыми войнами и преступлениями... Мы же вспомнили в начале нашего разговора эсхатологичность и апокалиптичность, всегда, особенно в России, связанные с ожиданием «конца света»... Мне кажется, по той скорости, с которой накатываются на человечество экологические катаклизмы, всё новые и новые болезни, пандемии, всемирный сатанизм, изобретения всё более ужасающего оружия, добровольное и принудительное оскотинивание людей с помощью масскультуры и тех моральных растлителей душ, о которых говоришь ты, — всё это свидетельствует о приближении «последних времён», когда, как сказано, «живые будут завидовать мёртвым»...

— Но куда они до этой «зависти» ещё не доросли, пусть раз и навсегда запомнят: нет никаких «звёзд» на Земле! Тем более — «мегазвёзд». Невозможно представить Пушкина, Толстого, Бунина или Шалапина, называющих себя звёздами. «Я не снег, не звезда...» — повторял Евтушенко. И если тусклые персонажи наших дней, ничтоже сумняшеся, продолжают именовать себя звёздами, причём с полнейшим самозабвенным бесстыдством, без кавычек... вот звёзды-то (настоящие, которые там, в Космосе!) и взбунтовались! И что же?... Показывают вышедешую из короновируса Надежду Бабкину. Всё такая же голливудская улыбка. И не очень выстрадавшая оглядка: мол, надо бы переосмыслить собственную жизнь, может, петь больше лирических песен... Не «переосмысливать» надо, а замаливать! Мне кажется, что «коронавирусный полураспад» отбрасывает нас не к лучшему новому, а к худшему старому!..

— Спасибо, что в нашем разговоре так часто возникает имя Пушкина... Мы всё-таки ещё и литературоцентричная нация, кажется, единственная такая на планете, и без обращения к дорогим литературным именам и образам, ставшим нашим культурным кодом, обойтись не можем: у нас и времена года, и пейзажи, и жизнь, и смерть, и любовь, и подвиги, и семья, и дом — непременно соотносятся с любимыми строчками русских классиков, с картинками и сюжетами любимых книг, мы мыслим цитатами (как Тарковский в фильме «Зеркало»), мыслим пословицами — высшей формой философии и поэзии; одно описание дуба в «Войне и мире» Толстого — стóит целого философского и психологического трактата... Так что какие там дутые «мегазвёзды», если у нас была и есть великая культура — художественная, образительная, музыкальная, на которые настоящая пандемия бескультурия напаялила не просто

непроницаемые маски, но и забила им кляпами рты?!.. Вспомним не самые лучшие времена, когда к столетию гибели Пушкина Владислав Ходасевич в тысяча девятьсот тридцать седьмом году, говоря в русском зарубежье о падении уже тогда отечественной культуры с утратой интереса к творчеству поэта, с тревогой спрашивал: если не будет у России Пушкина — «каким именем переключиться будем» в будущем, ничего хорошего не предвещающем?... А ведь Александр Сергеевич практически никогда по отношению к себе не применял ставшее сегодня расхожим и опошленным слово «творчество», только — *труд*, его любимое слово...

Я своим студентам в Литинституте говорю: «Друзья, повесьте у себя дома над письменным столом страницы пушкинских черновиков, испещрённых вдоль и поперёк бесконечными правками и доработками, пусть они вам постоянно напоминают, что такое *труд* гениального Поэта! И чтобы нам хоть иногда было неловко, стыдно за нашу лень и неумение работать!..»

— Ты практически сейчас процитировал толстовский дневник, где Лев Николаевич, вспоминая фортепьянную, в четыре руки, игру в имении Фета, а потом и всю музыкальную изящность и изящную словесность, кается, как ему «стыдно и гадко». Ощущение, что на нынешнем витке биологического выживания Человечества обесмысливаются не только ноты, романы и стихи, но и весь труд в пушкинском понимании. Гомо сапиенс в лице Илона Маска и его астронавтов уже ищут спасения в колонизации Марса. Но я, Гена, кажется, Маска опередил: во всяком случае, в две тысячи пятнадцатом году ко мне вдруг подступило стихотворение «Приговорённые к Марсу»:

*Мы ещё не отлетели,
но ведь скоро отлетать?..
И в земном промозглом теле
марсианский срок мотать.
Не пристало бывшим людям
о добре трындеть и зле.
Мы отцов святых забудем,
как забыли на Земле...*

И ещё две строфы:

*Мы по Марсу, как по маслу,
без скафандров, ясным днём,
репетируя гримасу
отрешённости, пройдем.
Но сама спадёт гримаса,
и мы вымолвим, тихи,
рудиментные для Марса,
в бездну слытые стихи...*

У меня стойкое предположение, что на Марсе когда-то было нечто подобное, что сейчас на Земле.

В том числе—достижения многовековой мысли и культуры. Отсюда и—«рудиментные» стихи. То есть—утратившие своё значение. Эти достижения постепенно стали... как бы это сказать... клубным, что ли, делом. Представь: на Марсе пииты читали стихи пиитам. И уровень читающих и слушающих с ходом времён был примерно одинаков, как на Земле. Я вижу, поэт Геннадий Красников со мной согласен, но доцент кафедры творчества Литинститута имени Горького Геннадий Николаевич Красников готов мне возразить?

— Значит, так, по пунктам. О Толстом чуть позже. Во-первых, как известно, русская поэзия всегда отличалась тем, что называется «космизмом», от Ломоносова с его

Открылась бездна звезд полна;
звездам числа нет, бездне дна...

до Тютчева с его «Последним катаклизмом» и другими стихами того же порядка, до Есенина с его «Душа грустит о небесах, она не здешних нив жилища...», до Новеллы Матвеевой с её «Выселением из Вселенной», до Роберта Рождественского с его песней «Эхо», до Николая Добронравова с его «Опустела без тебя Земля...», до частушек вроде «Над селом фигня летала серебристого металла...» и так далее... Поэтому Юрий Беликов со своими ироническими «марсианскими» стихами не мог не опередить весёлого фантазёра-шоумена Илона Маска!.. И тут наша команда снова—первая: «Гром победы, раздавайся! Веселися, храбрый Росс!..»

Во-вторых, неправота Толстого в том, что, вопреки его скепсису, литература и искусство тоже помогают жить и даже выжить, может быть, и во времена пандемии. Так, великий писатель Олег Васильевич Волков, несколько лет проведший в сталинских лагерях, рассказывал о том, что в тяжелейших условиях чаще выживали люди верующие, люди духовной культуры, наизусть знавшие стихи, отрывки прозы, русской классики... Вот и ответ на претензии к литературе Льва Николаевича!

Ну и с твоей полемически заострённой позицией, Юрий, я не могу согласиться по той же самой причине: если человечество подошло к последней черте, за которой только выживание, то всё равно у него остаются звёздное небо над головой и моральный закон внутри, а значит, мы всё равно вслед за Фетом будем повторять «рудиментные для Марса», для Земли—гениальные строки, несмотря на слабую, с точки зрения преподавателя Литинститута, рифму «огня—уходя»:

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идёт, и плачет, уходя.

3. Антология сбывшихся предсказаний

— Говорят, мхатовская пауза, которую нам якобы даровал коронавирус, обратила людей к прежнему, полузабытому. Если речь о России—то, вероятно, к тому, что она некогда называлась «самой читающей страной». Но обратила ли? Сходящие в тень книгозачеи обеспокоены судьбой своих личных библиотек. Причём при наличии наследников. Буквально на днях разговаривал по телефону с преподавательницей университета, известным филологом, которая горько посетовала, что в случае чего её богатая, собиравшаяся десятилетиями библиотека станет, скорее всего, обузой для родственников. Если так—страшно за будущие поколения, когда потребность в постижении окружающего мира сводится к постижению эсэмэсок, просмотрам онлайн-копий и прикольных видеороликов в соцсетях. Прочтут ли они «Войну и мир», «Братьев Карамазовых», «Тихий Дон» и «Жизнь Клима Самгина»?

— С грустью могу сказать вслед за тобою, что уже не будет таких людей как твоя знакомая преподавательница-филолог... Племя библиофилов вымирает, скоро даже в Красную книгу заносить будет некого из этой породы... Да и родственникам уже не нужны эти бесценные книжные и рукописные завалы в доме. Помню, как Андрей Вознесенский обнаружил в Переделкине догорающий костёр, куда были выброшены записные книжки, страницы рукописей замечательного поэта-фронтовика Михаила Львова, с которым мне посчастливилось дружить, Андрей Андреевич успел кое-что вытащить и спасти от огня... Олег Дмитриев, который был председателем по литнаследию Николая Анциферова, талантливого поэта из донбасских шахтёров, рассказывал мне, как родственники Анциферова, когда Олег пришёл к ним узнать, что осталось из написанного поэтом, извлекли из кладовки наволочку, в которую всё было свалено в кучу. Обладавший блестящим чувством юмора, Дмитриев придумал тогда остроумный, хотя и грустный, афоризм: «Поэту надо иметь не хорошую жену, а хорошую вдову...»

Для истории давай зафиксируем ещё такой факт: заметь, как в сегодняшних глянцево-журналах до богатых, где публикуются архитектурные и дизайнерские проекты роскошных особняков,— в этих проектах предусмотрено всё—по десять спален и туалетов, там нет только—просто не предусмотрено!—запланированного места для книжных полок... А ведь в наших провинциальных бараках, в коммунальных комнатухах, в общежитиях невозможно было представить жилого помещения без книг—на полках, на табуретках, на подоконниках рядом с фикусами и запылёнными колючими столетниками... Мы

с тобой точно знаем, как ценилось знакомство в ту пору с продавцами из книжного магазина, где тебе могли из-под прилавка достать «Опыты» Монтеня, Волошина со статьёй Цветаевой о нём, да и сборники тех же «шестидесятников» — Евтушенко, Вознесенского...

— В одной из своих последних, наверно, прижизненных книг «Я пришёл в XXI век» Евгений Евтушенко дал точную оценку происходящему: «Ничто так медленно не восстанавливается, как хороший вкус и человеческая порода». И чуть ниже: «Миф о самом лучшем в мире читателе и зрителе рухнул. Мы стали не только потребителями плохого вкуса, но и его производителями».

Ещё лет тридцать назад такого не могло быть по определению! А если было, то порицалось. Вспомни тиражи книг советских поэтов. Твои же строки:

А я любил советские стихи
от Маяковского до Смелякова!..

Благодарные многотысячные залы, в которых они выступали. Я ещё — самым краем — ухватил ту пору. В восемьдесят восьмом году отдыхал в Алуште. Гляжу: один мужик (фамилия его Петренко) смотрит то в какую-то раскрытую книжицу, где фото, то — на меня (я ещё тогда сам на себя походил!). И спрашивает: «Не вы ли автор „Пульсы птицы“?» Это была первая моя книга, и вышла она в издательстве «Современник» тиражом восемь с половиной тысяч экземпляров. По нынешним меркам — весьма солидным. То есть я ещё её в глаза не видел, а здешний книгоочей из народа уже предъявил мне её — купленную в местном книжном магазине! Да, были времена. Кстати, не обратил внимание на перекличку названий? «Птичьи светофоры» — у тебя и «Пульс птицы» — у меня...

— Бьющийся «Пульс птицы»... Нужно иметь очень тонкий душевный и поэтический слух, чтобы так ощутить хрупкость жизни в ненадёжном мире... Конечно, здесь близость поколений, общее чувство времени, ритма, толчков крови в жилах, предчувствия будущих исторических катастроф с утратой великой страны и личных потерь при виде:

Как долго звёзды — птичьи светофоры
Открытым держат для кого-то путь...

— Беликов да Красников... Красников да Беликов... Гена, это тянет на экспромт...

Средь расейских классиков —
два извечных берега:
Беликов да Красников,
Красников да Беликов.

Чем не вариант долгожданного мира между красными и белыми? Надо нам, Геннадий Николаевич, на двоих составить какую-нибудь антологию.

Чтобы будущие читатели поэзии (ежели таковые ещё сохранятся!) в один голос восклицали: «А вот в антологии Красникова и Беликова!..» А что?.. Я когда-то замыслил собрать «Антологию сбывшихся предсказаний». Это когда стихи-ностреламусы по прошествии времени становятся разворотами многих событий. И не только в судьбе их авторов... Ну, как у Лермонтова:

Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь...

Можно привести примеры и из других поэтов. Под самую завязку двадцатого века я составил сборник «Монарх. Семь самозванцев», куда среди прочих авторов вошли стихи бесприютного пермяка Валерия Абанькина. И там было стихотворение, которое почему-то сразу запомнилось:

Я скитаюсь в округе Китая,
Стал уже вполонину седым,
И, окурок зубами катая,
Выпускаю задумчиво дым.

Моим думам табак не помеха.
Дым табачный, мне душу латай!
Я когда-то в Испанию ехал,
Ну а там оказался Китай...

Я с китайцами жизнь коротаю,
Я китайские шутки ловлю,
Я давно по-китайски болтаю
И уже по-китайски люблю.

Ты Испанию ищешь по свету
И узнаешь, в мечтах не витаю,
Что давно даже Родины нету,
А весь мир — это просто Китай.

Сборник увидел свет в тысяча девятьсот девяносто девятом, а значит, стихи были написаны как минимум в девяностые годы прошлого века. Но если бы Абанькин дожил до нынешних времён, он бы, должно быть, удивился (а может, и не удивился бы, поскольку был учёным-биофизиком), как это всё с пандемией географически воплотилось:

Я когда-то в Испанию ехал,
Ну а там оказался Китай...

А ведь Испания и вправду по количеству заболевших коронавирусом превратилась в Китай. Да и «весь мир» в Китай превратился... Я надеюсь, ты меня поймёшь, как человек, написавший стихотворение о старике, который предупреждал: «Туча уже идёт». Вот так — с ударением на «ча». Уже за одно за это к такому старику нужно было бы прислушаться. Ан нет. Поэтому самое время дать ему слово. Ты помнишь эти стихи?

— Он говорил, хотя пророком не был:

«Последних сроков грозный час грядёт!» — и, долгим взглядом вглядываясь в небо, предупреждал: «Туча уже идёт».

—
Смеялись мы: «Ни облачка над нами!
Он для того клеветает на судьбу,
последними пугая временами,
что сам стоит одной ногой в гробу!»

—
Давно, старик, твои истлели кости,
в часах песочных движется твой прах,
а мы живём мертвей, чем на погосте,
при тех, последних, грозных временах.

—
Вдали — громами, будто бы гробами,
ворочает Небесный Судья,
но мы не видим мёртвыми глазами,
как догорает солнце бытия.

— Как предрёк красниковский старик, так всё и развернулось! С одной стороны — биофизик, с другой — старик. А предсказания в своей проекции сошлись. Такая вот «туча»... Может, прав иерусалимский поэт Игорь Бяльский и «наше, наверное, самое благополучное... поколение удостоилось дожить до такого всемирного перелома...»?

— Благополучное?.. Не знаю... Слишком многих нет уже, причём уход у большинства трагический. Слава Богу, и ты, и я, по возможности, во всех наших антологиях сохраняем их имена, возвращаем из небытия их стихи... Евтушенко, звоня из Америки, не раз говорил мне: «Мы с тобой единственные антологисты». Думаю, что он и тебя, Юра, причислял к этим «двум единственным»...

— Здесь, Гена, я, кажется, должен тебе поддакнуть?.. Дабы уличить Евгения Александровича в некой парнасской сверхщедрости? Но — нет, не отберу сей титул у Красникова — не причислял меня Евтушенко к «двум единственным». К «могучим „дикороссам“» — да, к «геологоразведчикам новых талантов» — да, к «неугомонным бунтарям» — пожалуй, а «два единственных антологиста» (чуть не сказал «антагониста») — это Евтушенко да Красников.

4. Отцы — родные, братья — сводные

— Ты как-то обмолвился, что подобно тому, «как у Игнатия Богоносца на сердце было отпечатано слово „Бог“; так у нас, во всяком случае, у нашего поколения, на сердце отпечатано: „Девятое мая тысяча девятьсот сорок пятого года“». Те, у кого отпечатано другое, нынче кличут это победобесием. Хорошо, что поэты фронтового поколения этого не слышат! Тебе довелось близко знать многих из них, а с кем-то — и дружить. Я — про Евгения Винокурова, Юлию Друнину, о Николае Старшинове и Михаиле Львове ты уже сказал...

И хотя по возрасту нашими старшими братьями считаются «шестидесятники», но, думаю, не ошибусь: тебе — по духу — ближе фронтовики. В чём, на твой взгляд, принципиальное отличие между «шестидесятниками» и фронтовиками? По-моему, есть некая, пусть не абсолютная, закономерность, что поэты тянутся друг к другу через поколение: «шестидесятники» — к Серебряному веку, а те, кто рождён во времена «оттепели», — к фронтовым поэтам, а не к «шестидесятникам». Или эта тяга вызвана не столько «черезпоколенческим» алгоритмом, а чем-то иным?

— Понимаешь, фронтовики по возрасту не могли быть отцами «шестидесятников», а мы, послевоенные дети, как раз подходили им и в сыновья, и в ученики... Потом, мы не были для фронтовиков конкурентами, а «шестидесятники» достаточно быстро стали отвоёвывать пространство популярности и славы, которыми ещё не успели в полной мере насладиться поэты военного поколения. Очень известный в своё время поэт-фронтовик Виктор Урин, которого своим учителем называли и Евтушенко, и Вознесенский, рассказывал мне, как за несколько лет его путешествий на машине по стране (он автор книги «179 дней в автомобиле Москва — Владивосток»), в его отсутствие в Москве, зазвенели имена этой пассажирской молодёжи, отодвинув его на второй и даже третий план... Михаил Светлов говорил ему: «Не надо было тебе, Витя, так надолго исчезать из столицы, твоё место теперь заняли другие». В общем, в этом есть своя кондовая правда. Так, Константин Ваншенкин, с которым мы тоже дружили, напечатал однажды обращённое к нему письмо Михаила Исаковского, где старый поэт советовал тогда молодому поэту-фронтовику постоянно ходить по редакциям, напоминать о себе, иначе о тебе очень быстро забывают... Это тоже к слову о твоём тридцатилетнем затворничестве... Забывают быстро. Станислав Лем написал как-то о двухтомной энциклопедии польских писателей, включающей почти двести тысяч имён, среди которых были и лауреаты Нобелевской премии: никого из них уже никто не читает, сокрушается Лем и называет эти справочники литературным кладбищем. Сегодняшние студенты Литинститута не знают ни Винокурова, ни Смелякова, ни Евтушенко, ни Соколова... Знаешь, на Международной конференции фонда Достоевского у Игоря Волгина, где, кстати, мы с тобой и познакомились, проводилась творческая секция на тему: почему сегодня нас не знают читатели. Мне пришлось весьма резко выступить там, сказав, что вас (нас) не знают потому, что мы не знаем тех, кто был перед вами (нами), так прерывается золотая бесценная цепь культуры, связь времён, поколений, а следовательно, и читателей поэзии...

— Но по поводу печатей на сердцах поколений... Они ведь неоднородны, поколения-то. Царь Иоанн Грозный и князь Андрей Курбский принадлежали к одному поколению и даже к одной генетической ветви — Рюриковичам, а по какие стороны их, однако, разнесло! Зато мы сейчас сверяем те времена по их переписке. Так и с девятым мая на сердце. Но если б мы полностью копировали своих предшественников, если бы — хоть в чём-то — им не перечили, они бы, наверное, перестали нас уважать. Вот я читаю строфы известного тебе Сергея Князева, моего ровесника, поэта и кино-режиссёра, живущего в Подольске:

На полочке шаткой, хмурой
Стоят по соседству с Дантом
«Поэзия трубадуров»
И книжечки лейтенантов,
Сменяющие серьёзность
Тоской по военным фурам.
А мне по душе влюблённость,
Присушая трубадурам,
А мне по душе живые
Зверюшки — собачки, кошки,
Чем эти сторожевые
С винтовкою на обложке...

Сергей обозначил здесь пусть личную, но всё-таки позицию представителя поколения восьмидесятых. И мне даже кажется, что, допустим, такие поэты-фронтовики, как Юрий Левитанский («Ну что с того, что я там был?») или Давид Самойлов:

И плачу над брэнностью мира
я, маленький, глупый, больной,

которые мучительно старались уйти от темы «винтовок на обложке» в сторону устройства мироздания, — они бы Князева здесь, по меньшей мере, не укорили.

— Думаю, да... Они вообще были людьми скромными, с чувством собственного достоинства, которое не позволило бы им навязывать себя и свою судьбу, свою историю другому поколению. Но разве мы копируем их? Разве не знаем, что степень таланта у них разная? Мы отличаем шедевр от простого поэтического документа эпохи, искреннее свидетельство участника событий — и великое поэтическое произведение... Но меня, скажу честно, коробит эта нарастающая потеря памяти: ладно бы ещё у нынешних зомбированных мальцов, но у послевоенного поколения... Тут есть какое-то предательство. Ну если уж ты стал далёк от своих отцов, от их трагедии, от их переживаний, разочарований, то хотя бы промолчи. Что ж ты так гордишься своим пацифизмом? Может, и внукам своим постесняешься сказать, что ты сын поколения победителей?.. Ты же не библейский Хам, с упоением открывающий «наготу отца

своего!» Одно из самых отвратительных для меня человеческих качеств — неблагодарность.

Когда к шестидесятипятилетию Победы я составлял антологию военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было!..», ещё были живы последние оставшиеся фронтовики — Василий Субботин, Егор Исаев, Герой Советского Союза Михаил Борисов... Замечательный поэт Николай Васильевич Панченко, когда мы говорили с ним по телефону о его стихах для антологии, с печалью поведал, что у него недавно вышла книга небольшим тиражом, который почти весь, несколько пачек, лежит у него на балконе, никому не нужный... В следующий раз по телефону мне ответили: «Николая Васильевича сейчас нет дома, он ушёл кормить птиц...» Вскоре его не стало... Это тоже ведь к теме наших с тобой «птиц»... Как же можно предать этих великих стариков, о которых я написал когда-то (вот как ты меня разговорил, что я стал себя цитировать):

Мы дружили с фронтовиками,
с настоящими мужиками,
быть почётно учениками
у великих отцов своих —
тех, что скрыты уже веками
под осыпавшимися венками,
под летящими вслед плевками
на святые могилы их.

Знаем, что они пережили,
знаем, что они заслужили
и какие песни сложили —
вместе с ними пели не раз...
В майский день за Победу пили,
а бывало, и слёзы лили,
вспоминая, как протрубили
им архангелы: грозный час!..

Ну так что же, дети и внуки,
молча мы опускаем руки,
чтоб могли какие-то суки
пачкать память старых солдат?
Всё сдадим — без стыда и муки?
Впереди — подлый смех и трюки,
пляски под похоронные звуки...
Позади — Москва, Сталинград!..

5. Поколение утраченной страны

— Ты наверняка знал Есина (Михаил Кураев, который председательствовал в две тысячи пятнадцатом году на Астафьевских чтениях в Перми, так и сказал, представляя Сергея Николаевича: «Кто не знает Есина?!»). Так вот, мы иногда с Есиным пере-званивались, и он мне незадолго до своей кончины то ли в шутку, то ли всерьёз поведал, что хотел бы создать «Сообщество писателей, которым не додали». Я — также не то в шутку, не то всерьёз — отвечал, что, дескать, готов стать

вице-президентом этого сообщества, учитывая, что наверняка Есин будет его президентом. И сегодня — на правах вице-президента несозданного сообщества — хочу тебе задать вопрос напрямую: положи руку на сердце, считаешь ли ты, что на фоне творческой прописки и раскрутки (назови это как хочешь) поэтов-фронтовиков и «шестидесятников» последующему поколению не воздали должного?! Ведь то, что вы с Юрием Поляковым замыслили собрать и выпустить антологию поколения восьмидесятых, — своего рода свидетельство этого духовно-типографского дефицита!

— Да, я признателен моему другу Юрию Полякову, благодаря которому вышла наша с Костровым антология «Русская поэзия. XX век», с ним мы сделали военную антологию к семидесятипятилетию Победы, задумали антологию «восьмидесятников»... Кстати, о пандемии. К сожалению, Юра на днях заболел — таки этим «ковидом», хотя несколько месяцев берётся, практически вёл затворнический образ... Надеюсь, всё обойдётся благополучно и он будет здоров, чего я ему от всей души желаю!

— *Желаю и я...*

— А вот о твоём вопросе... Дело в том, что здесь всегда всё весьма субъективно. Так, например, я не считаю, что Сергею Николаевичу Есину, с которым мы проработали на одной кафедре в Литинституте больше десяти лет и которого я очень уважаю как самобытного человека, как прекрасного педагога, как талантливого писателя, автора замечательной серии «Дневников», — что ему — не додали... Более того, я считаю, что он счастливый человек и получил всё, чего был достоин и по таланту, и по общественному признанию, и по заслуженной любви читателей, а особенно студентов. Ты не представляешь, какое количество студентов было на прощании с ним: в Доме литераторов такого не было за последние лет двадцать-тридцать, там просто невозможно было протолкнуться... Просто он попался на крючок шумного успеха своей повести «Имитатор», за которую ухватились «прорабы перестройки» и разрушители нашей страны, тогдашние «апрелевцы», «огоньковцы» Коротича, увидев в ней отнюдь не художественные достоинства, а почувdivидшийся им выпад против советской власти... Когда же в последующих его работах они разглядели в нём «русский дух» и патриотические убеждения, они — с их возможностями на телевидении, в прессе, в комиссиях по госпремиям и прочим — внесли его в свой кондуит «не наших», спустив на тормозах его восхождение по лестнице славы... Об этом я успел написать ещё при жизни Сергея Николаевича в большой статье о нём (совсем не комплиментарной) — «Сизифов мост над рекой времени»... Надо сказать, что

после долгих размышлений он принял эту статью, согласился с нею, о чём написал мне в своём последнем письме, буквально за несколько дней до ухода. Знаешь, Юра, не хвалюсь, считаю, что эта статья — лучшее, что было написано о нём... Это ведь всё к вопросу на тему: додали или не додали...

— *А может, Сергей Николаевич не себя имел в виду, применяя этот глагол? С его-то ректорскими познаниями писательских судеб?..*

— Себя, себя он имел в виду; я видел, как ревниво он относился к успехам других, особенно своих ровесников, Маканина, например... Не завидовал, но чётко отслеживал эти успехи, ценя при этом талант. А за успехи молодых, студентов Литинститута — радовался эмоционально. Да и после каждого своего выступления, даже — на заседании кафедры творчества, как ребёнок спрашивал потом: «Ну, как я выступил?» — хотел, чтобы его похвалили...

Знаешь, Иоанн Златоуст любил повторять: «Слава Богу за всё!» У каждого писателя, поэта есть судьба, от которой не уйдёшь. А что, те из нашего поколения, кого «раскручивали» в восьмидесятые-девяностые годы, — «метафорики», «мета-метафорики», «концептуалисты» (я сам печатал многих из них в альманахе «Поэзия») — их кто-нибудь сейчас знает? Помнишь? Только тусовочные круги, правда, стоящие у руля по распределению грантов и премий... Когда-то об этих ребятах, во время так называемой предательской перестройки, Владимир Маканин, мой земляк, спрашивал меня: «А кто такие поэты „новой энергии“? А то я приехал в Норвегию (или «в Данию» он сказал) — а меня буквально у трапа самолёта журналисты спрашивают, как я к (!!!) ним отношусь, а я их не знаю...» А всё равно — «литературное кладбище», как ни грустно об этом говорить...

Поэтому я не сомневаюсь и даже уверен, поскольку знаю, в том числе и благодаря тому, что составляю антологию «восьмидесятников» (кстати, не без твоей щедрой и замечательной по художественному вкусу помощи), — повторяю, знаю, что наше поколение — самое мощное во второй половине двадцатого века, да не обидятся на меня «шестидесятники»!.. Этим изданием, я верю, мы сможем воздать должное нашему поколению.

— *Наверное, надо хотя бы попытаться дать ему определение? «Поколение утраченной страны»? А ведь действительно мы явились на свет в одной стране и в двадцатом веке, а вынуждены уходить в другом столетии и в другой стране. Опять возникают числитель и знаменатель. Преломлённые и преломленные. Хотя чего я изощряюсь? Твои же слова:*

*...Но что-то всё-таки надломное,
надрывное всегда есть в нас.*

Поэты края бытия. Так я кличу своих— «дикороссов». Ты ведь помнишь, как в «Литгазете» при поддержке Юрия Полякова была открыта рубрика с таким названием и мне довелось её вести?..

Без имён мы, Гена, не обойдёмся. Назову тех, кого уже нет: Андрей Власов из Великих Лук, Валерий Прокошин из Обнинска (оба ушли после тяжёлой и продолжительной), Михаил Анищенко из самарского села Шелехметь (сердце), уже процитированный пермяк Валерий Абанькин (задохнулся в горящем заброшенном доме), Сергей Лузан из Норильска (завершил свой путь охотника-промысловика на больничной койке в Изборске), Сергей Нохрин из Екатеринбурга (скончался после уличной драки от разрыва сердечной аорты), Анатолий Култышев из Чусового (выбросился с балкона московской многоэтажки), Геннадий Кононов из пограничного Пыталова на Псковщине (медленно и мучительно там угасал...). В общем, бесконечное Пыталово!..

— Одни только твои «дикороссы» какую печальную статистику дают— сплошной некрополь... Я очень остро ощущаю их отсутствие. Поневоле вспомнишь строки Некрасова: «Братья писатели! В нашей судьбе что-то лежит роковое!» Слава Богу, что ещё можем называть и ныне живущих, среди которых, кстати, много женщин: Мария Аввакумова, Марина Кудимова, Ольга Ермолаева, Олеся Николаева, Светлана Кекова, Надежда Мирошниченко, Надежда Кондакова, Светлана Сырнева, Лариса Тараканова, Инна Кабыш, Наталья Лясковская— это фактически живые классики, наши современники... Назову ещё несколько имён: Евгений Чепурных, Иван Жданов, Александр Ерёменко, Вячеслав Казакевич, Юрий Поляков, Михаил Шелехов, Виктор Коркия, Александр Лаврин, Григорий Калюжный, Владимир Урусов, Виктор Верстаков, Анатолий Тепляшин, Михаил Попов, Владислав Артёмов, Карен Джангиров, Михаил Яснов, Александр Кувакин...

В любом случае (прости, вновь процитирую себя) мне не обойтись без моих строк четвертьвековой давности о том, что я думаю и думал о нашем поколении:

Злые, но не безликие,
и наша цель чиста:
пока не пришли великие—
займём их места.

Грешные, не идеальные,
пьём на пиру чумы;
пока не пришли гениальные,
гении— это мы.

Сколько часы роковые
будут наш век отмерять?—
пока не пришли живые,
нам нельзя умирать.

Души мрачит искуситель,
плачут здесь, бьются, поют,
пока не пришёл Спаситель—
нас на Голгофу введут.

Сбитыми в кровь устами
молимся: «Отпусти,
Господи,— мы устали
крест непосильный нести!..»

— Холодок по мне сейчас пробежал, сквозняк!.. Чую ветер из будущей антологии «восьмидесятников»... Эх, Гена, Гена, сейчас уже ты раскручиваешь меня на самоцитату! Страшно подумать, это стихотворение— образца того самого, поколенческого, тысяча девятысот восьмидесятого года. И здесь опять незримо вступает в наш диалог мой тёзка Юра Поляков, потому что в бытность его редактором отдела литературы и искусства журнала «Смена» именно он сдвинул с места и опубликовал подборку «забуксовавших» там моих стихов:

Мы— поздние, поздние, поздние...
Мы схожи с рябиновыми гроздьями.
Леса опустеют старинно—
останется только рябина.
Рябина! Боярыня Морозова,
ты в будущее сослана
за то, что ещё не картина,
за то, что не к лету горька...
О, как ты любима, рябина!
Однако сквозь время пока.
Как в связке походного братства
сильнейший идёт позади—
чтоб наипервейшею зваться,
последней, рябина, иди.
Глотайте клубнику на корточках!
Но всё перетянет в мороз
скуная, отважная горсточка—
высокая красная гроздь!
И, может быть, чудо— не чудо,
а просто в преддверье зимы
у истины смыло запруды—
и вот она— чудо, и мы
поэтому— поздние, поздние,
всё время смотрящие в спину...
Но воздух уж пахнет полозьями,
и едет народ по рябину.

— Да-а-а, получается, что мы с тобой, Юра, «больны» темой нашего поколения, если это написано у меня— двадцать пять лет назад, а у тебя— все сорок, и мы годами ищем ответ, что же и кто же мы такие, с чем и зачем пришедшие: чтобы, говоря словами Леонида Мартынова, за нами «вытерли паркет и посмотрели косо вслед» или для чего-то ещё?..

6. Фолианты сквозь слёзы

— По мне, любая антология есть попытка сгруппировать минувшее или происходящее, то, что

материализуется через свои нервные окончания, — опыт творцов. К тому же никто не сбрасывает со счетов «провокацию вкусов». Вспомни антологию русской поэзии Ежова и Шамурина образца тысяча девятьсот двадцать пятого года. Думаю, она стала кладезем для «шестидесятников». Что касается «Строф века» Евгения Евтушенко, то, когда они увидели свет, Андрей Вознесенский не без дружеской подначки сказал её собирателю, что это-де лучшее, что издал Евтушенко. «Самиздат века» Генриха Сапгира и Анатолия Стреляного явил то, что оставил за скобками или, с их точки зрения, затушеввал Евтушенко. Но вот какая притча: ты уже сказал о «литературных кладбищах», и это в известной степени многое объясняет. Укого-то — маленький, почти сглаженный холмик со звёздочками над парой четверостиший. Укого-то — роскошная мраморная спальня. Ты бишь и на этом «кладбище» — неравенство. Иногда составители делают рокировки: переустанавливают памятники на собственный лад. Был Есенин по центру, стал — Даниил Андреев. Это ни хорошо и ни плохо. Просто у каждого составителя своя ДНК. А какая ДНК движет Геннадием Красниковым — одним из самых известных ныне (после Евтушенко) собирателей отечественных антологий?

— Ты, конечно, знаешь, Юра, что сразу вслед за антологией «Строфы века» Евтушенко появилась в тысяча девятьсот девяносто девятом году антология «Русская поэзия. XX век», вышедшая под редакцией Вл. Кострова и Ген. Красникова, ставшая в каком-то смысле ответом «Строфам века», слишком политизированным в духе «Огонька» Коротича (где, кстати, они и печатались фрагментами до выхода книги), антологии с навешанными ярлыками на многих поэтов и коммерчески полностью рассчитанной на западного читателя. Мы постарались снять эту «политизированность» с оценок поэтических репутаций, но всё-таки по отношению к Евгению Александровичу применить его тенденциозный принцип, включив в антологию его ранние стихи:

Я знаю: Вождю бесконечно близки
мысли народа нашего.
Я верю: здесь расцветут цветы,
сады наполнятся светом.
Ведь об этом мечтаем и я, и ты,
значит, думает Сталин об этом!
Я знаю: грядущее видя вокруг,
склоняется этой ночью
самый мой лучший на свете друг
в Кремле над столом рабочим...

Однако Евтушенко, сам обвинявший других в разного рода идеологических грехах, отрёкся от своих стихов, запретив их печатать...

Евгений Витковский, мой старый товарищ, помогавший Евтушенко составлять «Строфы века», предьявил мне претензии, что в нашей антологии пропущено много хороших поэтов, представив целый список, кого мы, по его подозрению, якобы преднамеренно не включили в книгу. Пришлось мне с тою же меркой пройти по «Строфам века», и я составил для Жени Витковского вдвое больший список талантливых поэтов, не попавших в их антологию...

Что же касается моего «кода», о котором ты спросил, то он заключается только в одном: в любви к русской поэзии и, я надеюсь, в хорошем вкусе и профессионализме... Как-никак я занимаюсь издательской работой с тысяча девятьсот семьдесят восьмого года, с тех пор как стал редактором альманаха «Поэзия»... Свою роль сыграла и школа замечательного русского поэта-фронтовика, человека безупречного вкуса и большой культуры Николая Старшинова, с которым мы вместе издавали альманах в течение двадцати лет...

И ещё один «код», позаимствованный у Александра Блока. Когда-то он готовил к изданию «портативный» сборник стихов Пушкина и долго мучился, что отобрать, с чего начать — всё было жалко, что-нибудь пропустить. И всё же решил: «Начнём брать только от „Редеев облаков летучая гряда“». — «Почему?» — спросили Блока. «Оно первое, от которого подступают слёзы...»

— «Я счастлив тем, что слёзы у меня.

А я-то думал — плакать не могу», —

словно подслушав Блока, написал поэт Коля Бурашников, которого насмерть запинали на одной из пермских улиц бухие сопляки. Я знаю, Гена, что его стихи ты включил в антологию «восьмидесятников». И за это тебе — низкий поклон, как и за многих других ушедших и живущих русских поэтов. Но не было и не будет идеальных антологий, примиряющих всех. Так, красниковскую «Русскую поэзию. XXI век» тут же обстрелял Захар Прилепин. Ну и что?.. Мало ли кого там нет! Меня, например, тоже. Честно говоря, другое сегодня заботит. Спрошу словами Красникова:

Много ли ещё осталось будущего,
не исчерпан ли его запас?

К тому же я когда-то заглянул в памятник византийской и древнерусской письменности «Пчела». А там начертано: «Угодать всем — зло».

— Ты сам знаешь, Юра, что о составлении антологий можно писать целые криминально-приключенческие истории, которые остаются за кадром, истории и горькие, и счастливые... Мне Алёна Агашина рассказывала, как в Волгограде в палату к умирающей матери, Маргарите Агашиной, принесла нашу антологию двадцатого

века с напечатанными в ней её стихами... И для талантливой русской поэтессы эта книга стала последними минутами радости и счастья. А ведь, кроме меня, разыскавшего и включившего эти стихи, никто бы и не вспомнил о ней...

Сегодня я могу с запоздалым сожалением совершенно искренне сказать, что без стихов Юрия Беликова наша антология очень много потеряла — во всяком случае, в этом своде стихов столетия явно не хватает яркой беликовской краски-вспышки, без которой уж точно двадцатый век — «неполный»...

— Да ладно?... Впрочем, я дожил до таких лет и, кажется, навсегда отбитых чувств, когда уже нельзя вогнать в краску... Однако мы отвлеклись.

Есть жанровые антологии. Например, «Антология русского верлибра» Карена Джангирова или «Жанры и строфы современной русской поэзии» Евгения Степанова. Есть антологии тематические — такие как «Слово о матери» Юрия Перминова или «Свойства страсти» Сергея Кузнецова. Есть антологии ментальные (так я их называю). Сюда можно отнести «Последнее стихотворение» Юрия Казарина и «Молитвы русских поэтов» Виктора Калугина, а в особенности «Антологию русского лиризма» Александра Васина-Макарова. По замыслу, по замыслу своему и в каких-то вариантах осуществления она — проект редкий, глубинно-мистический. Русский лиризм... Что это такое? Это как в стихотворении Юрия Кузнецова «Экспромт»:

Чья, скажите, стрела на лету
Ловит свист прошлогодней метели?
Кто умеет метать в пустоту,
Поражая незримые цели?

И тут, на мой взгляд, составителю надо было метать не одну стрелу, не две, а целые колчаны. Вот одна стрела — в Маяковского (на самом деле — не только в Маяковского, но и — скрыто — в Красникова и в составителей других антологий, отдававших Маяковскому много места). А Васин-Макаров представил оно же всего одним стихотворением:

Послушайте!

Ведь если звёзды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?

А сверху — в биографической справке — приписочка: «Ю. Карабчиевский не прав: Маяковский не воскреснет. Разве что в строках, отобранных для данной антологии».

Вот вторая стрела — в Велимира Хлебникова. Опять-таки — в биографической справке: «Может быть, чтобы не ошибиться так, как ошибались почти все, стоит предположить, что В. Хлебников — не-человек...» — и тут же, в сноске, мельком заметив, что он ещё и не-поэт: «Он

не единственный не-человек среди участников нашей антологии...»

Но интересно же! Разве нет? А ещё есть стрелы по умолчанию. Например, в третьем издании антологии за весь двадцатый век даже не упоминаются Евгений Евтушенко и Иосиф Бродский. Хотя ещё в двухтысячном году, в первом издании, Бродский там присутствовал одним-разъединственным стихотворением. Не уверен, что этим авторам отказал бы в русском лиризме, предположим, тот же Владимир Соколов, почитаемый Васиным-Макаровым и широко в антологии представленный.

— Это тема для другого большого разговора... Не Васину-Макарову и не нам с тобой, Юра, решать, кто воскреснет, а кто нет, — в стране и без того полно мерзавцев, готовых всё разрушать, и начинают они именно с культуры... Знаешь, как на вопрос: «Когда же вновь воскреснет Россия?» — отвечал псковский старец с острова Залит Николай Гурьянов? «А она и не умирала!» — говорил он. Вот и весь ответ на нашу спесивую самоуверенность, чтобы не оказаться нам в ситуации, описанной Пушкиным:

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит.
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит...

— Однако, как ни парадоксально, для меня именно этим-то в том числе и ценна антология Васина-Макарова. Даже если я мыслю иначе. Но... Если уж решился своевольничать, надо своевольничать до конца. Если уж сражаться — сражайся, а не отстреливайся... ипильками. Само собой, нет объективных антологий. Посему вслед за Львом Аннинским, ещё в тысяча девятьсот семьдесят девятом году провозгласившим: «Жажду беллетристики!» — прокричу другое: «Жажду своеволия!» Под ним я подразумеваю антологический субъективизм.

Вот сказанул — и осёкся, увидев укоряющий взгляд Гены Красникова, которого — ещё за первую его книгу — поддержал и процитировал Евтушенко: «Мы — не судьи с тобой. Мы — вина». А я-то призываю даже не к судейству, а к некоему робингудству.

— Тут я стародум и консерватор до мозга костей. Не люблю, когда паразитируют на именах. Разве что вспомню любимого Бунина, которого однажды попросили ответить на анкету:

«Дивлюсь и сейчас, — пишет Бунин, — глядя на этот анкетный листок. А потом — какой характерный вопрос: „Каково ваше отношение к Пушкину?“ В одном моём рассказе семинарист спрашивает мужика:

— Ну а скажи, пожалуйста, как относятся твои односельчане к тебе?

И мужик отвечает:

— Никак они не смеют относиться ко мне.

Вот вроде этого и я мог бы ответить:

— Никак я не смею относиться к нему...»

А Фаина Раневская когда-то поставила на место одного «оценщика» искусства. Когда в Москву привезли «Сикстинскую мадонну» Рафаэля, некий чиновник из Минкульта брякнул, что картина, дескать, не произвела на него впечатления. Раневская заметила: «Эта дама в течение стольких веков производила впечатление, что теперь она сама вправе выбирать, на кого ей производить впечатление, а на кого нет!...»

То же и с Хлебниковым, и с Маяковским... Мы можем быть беспощадны к врагам и клеветниками Отечества, к врагам Церкви, к пришедшим к нам с мечом, к митингующим под бандеровскими и влазовскими флагами, но к собратьям по творчеству, пусть даже эстетически нам неблизким, к нашим предшественникам, не имеющим возможности защититься, — для чего? В чём упрекаем других, в том, выходит, считаем себя праведниками, святыми, лучше их... Вот оно, литературное фарисейство!

7. Кларнет — для низенькой светёлки?

— Как ты думаешь, у души человеческих есть национальные признаки? Вот, допустим, душа русского человека... «Душа болит!» — едва ли не криком кричит шукинский Максим Яриков в рассказе «Верую!». И если «мы — не судьи», «мы — вина», тут-то и начинается разрастание боли. А дальше что? Окуджава для себя решает так:

*А душа, уж это точно, ежели обожжена,
Справедливей, милосерднее и праведней она.*

С его точки зрения, душе, как глине, на пользу обжигающие страдания. У Есенина — иначе:

*Если черти в душе гнездились,
Значит, ангелы жили в ней!*

Кстати, в стихотворении Владимира Кострова о Сергее Есенине, которое вошло в антологию «Русская поэзия. XX век», есть закамуфлированная анафема:

*Родной тальянки золотую медь
Не вырубить безродному булату.*

Да-да, «булату» — вот так, со строчной буквы. Я ведь не случайно спросил про душу именно русского человека. Каких границ она может достичь через принятие вынужденной боли? Ответ нашёл в твоих поздних стихах:

*Кто рвал хоругви наши и знамёна,
кто в наших детях души убивал —
мы этих бесов вспомним поимённо,
как никогда никто не вспоминал!..*

Не годится русской душе окуджавская премудрость. И даже названия твоих последующих книг (после

«Птичьих светофоров») заметно менялись: «Крик», «Не убий!», «Все анекдоты рассказыны». В краснической публицистике — много рока: не музыкального, а в старинном значении судьбы: «Роксовая зацепка за жизнь, или В поисках утраченного Неба», «В минуты роковые. Культура в зеркале русской истории». Ты становишься персоной одной из самых читаемых мной рубрик в «Литературной газете» — «Клеветникам России». Думаю, тебя не всегда узнавал Евтушенко, не разучившийся читать между строк — твоих, разумеется, в «Клеветниках России» — и, кажется, навеки причисливший Красникова к «поэтам вины». А Геннадий Красников бичом хлещет, подстёгивает:

*Со всех сторон над русским мужиком
любая сволочь ржёт и веселится, —
какой тебе ещё придумать гром,
чтобы собрался ты перекреститься?*

И вот уже, будто расслышав этот вопрос, на улицы Хабаровска вышли митингующие, отстояли заповедную гору Куштау близ Стерлитамака тамошние строптивцы... Снова призовём в свидетели Блока: «Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И приветствую звоном щита!» А что бы выбрал, живя в России, сам Красников: быть узнаваемым или неузнанным?

— Да, ты забыл напомнить афористичные строки Евгения Евтушенко: «На том и держится Россия, что у неё душа болит...» А вообще, Юра, в твоём, быть может, самом главном вопросе есть то, что Николай Лосский называл «существованием удивительного сверхэмпирического единства нации», следовательно, и в духовном плане существует «сверхэмпирическое единство»... Гениальный Паскаль говорил: «Истина одна и та же — и в Париже, и в Тулузе...» Я когда-то писал о древних китайских поэтах Ли Бо и Ду Фу, и знаешь, находил у них строчки и картины, буквально совпадающие со стихами Николая Рубцова и Есенина, а у античной поэтессы Сафо, от которой остались лишь короткие фрагменты стихов, встречаются строки, что словно бы вчера написала своим детским почерком, заглавными буквами на страничке, вырванной из школьной тетрадки, наша Ксения Некрасова... А вообще, и русская, и греческая, и китайская душа, как сказал Есенин, «грустит о небесах»... «Национальной» душа становится только в народной песне (послушай русскую, украинскую, белорусскую, сербскую, татарскую, якутскую, шотландскую народную песню!) и в отношении к родной природе, но народную песню давно извели на нашем телевидении и радио, а то, что осталось, — добили Бабкины-Ляпкины. Смольянинову Евгению ты не услышишь, так же как и Штоколова, Лемешева, Козловского, Русланову, Петрову Татьяну, я уж не говорю о Кубанском казачьем хоре

и хоре Сибирском, Оренбургском, Воронежском, когда-то славившихся во всём мире... Великий француз Экзюпери замечал: «Достаточно услышать любую народную песню пятнадцатого века, чтобы понять как низко мы пали».

— Единственное место, где, Гена, я всё это слышал, — Чусовской этнографический парк Леонарда Постникова, ставший своего рода звуковой воронкой русского духа, представь, образовавшейся на моей малой родине, среди леса и гор. Однажды приехали мы сюда с Леонидом Бородиным, прошедшим сквозь политзону русским прозаиком и главным редактором журнала «Москва». Это было незадолго до его ухода. Бородин приблизился к гостевому домику, а там правило прописано: «Уважаемые посетители! Мы приветствуем русские песни и классические мелодии. Но, к сожалению, встречаются любители „музыки“ с рывкающими звуками в грочующем головодробительном ритме работающей пилорамы. Подобная псевдомузыка на территории нашего этнографического парка недопустима».

Это напутствие так воодушевило Леонида Ивановича, что он потом полностью воспроизвёл его на страницах журнала в своём хлёстком и прозорливом очерке. Нынче этнопарк — через пять лет после кончины его основателя — получил

официальное наименование: «Земля Постникова». Так вот, Евгению Смольянинову и Татьяну Петрову я впервые услышал на «Земле Постникова». Я шёл по здешней улочке и, словно в речке, купался в их голосах, усиленных динамиком. Слышал я там и Штоколова, и казачьи хоры. Врать не буду: Окуджавы я там не слышал...

— Окуджава, конечно же, не национальный русский поэт, у него вместо «родной тальянки» «виноградная косточка», и «кларнет», и «помятая труба» — то, что мою крестьянскую курскую родню глубинно тронуть не может, слишком разные цивилизации «кларнет» и «низенькая светёлка», «виноградная косточка» и замерзающий в степи ямщик, «зеленоглазый Бог», дающий «всем понемногу», и «догадливый атаман», что «сон мой разгадал»...

Что до «узнаваемости» и «неузнанности», то в разные периоды возраста мы по-разному относимся к этому вопросу. К тому же быть «узнаваемым» — это ещё не значит быть узнанным. Узнаваемым я точно быть никогда не хотел, а вот из немоты и молчания, из сегодняшней вынужденной культурной эмиграции (а в духе твоей основной темы — из культурной изоляции), говоря словами прекрасно-го Георгия Иванова, наверное, хотел бы «вернуться в Россию — стихами» вместе со своим поколением.